

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

ИЗ БИОГРАФИИ САБУРОВА

ГЛАВА, НЕ ВОШЕДШАЯ В ПОВЕСТЬ «ДНИ И НОЧИ»

От автора

Когда редакция «Литературного наследства» предложила мне принять участие в томе, посвященном литературе эпохи Великой Отечественной войны, я, перебирая в памяти то, сравнительно немного, что было мною в те годы не опубликовано, вспомнил о первом черновом варианте повести «Дни и ночи».

Этот черновой вариант я, почти целиком, написал за два месяца: май — июнь 1943 года. К концу апреля на всех фронтах установилось затишье, и редакция «Красной звезды» дала мне двухмесячный отпуск для работы над небольшой повестью о Сталинграде, которую предполагалось печатать с продолжениями в газете. При этом было оговорено, что если на фронте начнутся события, — отпуск мой может быть прерван в любой день. В этих жестких условиях я решил диктовать первый черновой вариант повести стенографистке и, очевидно, правильно сделал. Я еще не успел продиктовать повесть до конца, когда разразились события на Курской дуге. Последние главы повести додиктовывал в течение июля — сентября, урывками между поездками на фронт.

Обстоятельства работы сказались на первоначальном тексте повести. Из тридцати листов, первоначально в спешке продиктованных мною, когда повесть вышла книгой, в ней осталось всего шестнадцать. Все те многочисленные купюры (не говорю уже о стилистической правке), которые я сделал, готовя повесть к печати сначала для «Знамени», а потом для отдельного издания, я считал тогда и продолжаю считать сейчас, совершенно оправданными с точки зрения общей композиции вещи.

Почему же теперь я считаю возможным опубликовать одну из глав чернового варианта? Потому что эта глава, которую в опубликованном тексте «Дней и ночей» заменило всего несколько абзацев, на мой взгляд представляет сейчас известный документальный интерес. За последнее время, особенно на обсуждениях книги «Солдатами не рождаются», мне приходилось сталкиваться с различными мнениями насчет того, что думали и могли думать и чего не думали и не могли думать люди поколения Спнцова (то есть, в сущности, моего поколения) тогда, в 1943 году.

Так вот, эта вычеркнутая мною из «Дней и ночей» глава в известной мере есть ответ на вопрос: что думал я, человек своего поколения, тогда, в мае — июне 1943 года, о некоторых проблемах, связанных с событиями 1937—1938 годов и с предвоенным временем вообще?

Естественно, что сейчас, зная многое неизвестное мне тогда, я на многое смотрю по-другому. Следует, пожалуй, допустить также, что и тогда, в 1943 году, у меня не всегда хватало решимости додумать до конца на бумаге все те трудные вопросы, которые поставило перед нашим поколением время и над которыми я, как и многие другие люди, мучительно размышлял. Но относясь к этой черновой главе как к своего рода документу, и именно в этом виде ее, хотя бы относительную, ценность, я не считаю

сейчас возможным что бы то ни было исправлять в ней по существу. В черновике, текст которого хранится в ЦГАЛИ, я сделал одну, не носящую принципиального характера купюру, исключив полторы, особенно дурно написанных страницы, а в остальном ограничился самыми минимальными стилистическими поправками.

25. X. 64

В сентябре 1934 года Сабуров получил повестку из военкомата. Он был к этому времени уже помощником начальника участка, и если бы он захотел, ему было бы легко получить отсрочку. Верней даже — если бы он сказал на работе об этой повестке, то хотел он или не хотел, ему, пожалуй, все равно бы дали отсрочку. Но он сначала сходил на медкомиссию, получил отметку «годен», назначение в пограничные войска и день явки — и только после этого пришел в дирекцию и партийный комитет сказать, что идет в армию, как уже о совершившемся факте. То, что в двадцать два он должен будет пойти в армию, он предвидел давно и не раз думал об этом. И чем больше думал, тем яснее для него становилось, что идти в армию или брать отсрочку было одним из самых принципиальных вопросов его жизненного поведения...

В течение всех последних лет, когда он читал газеты, где изо дня в день писалось о мощи, несокрушимости и непобедимости Красной Армии, его удивляло, что при этом все, кому не лень, кругом него получали отсрочки и освобождения. И прежде всего те люди, которые, казалось, самой своей профессией были предназначены командовать — бригадиры, мастера, десятники, прорабы. Он понимал, конечно, что они нужны там, где они работают, но он никак не мог отделаться от ощущения, что такие люди не меньше, а может быть, еще больше нужны и в армии. Если бы это было в его власти, он бы согласился работать за двоих, только чтобы никому, когда приходит их черед, не давали бы отсрочек. Если бы он мог издавать законы, он бы издал именно такой закон, без которого все слова о несокрушимости казались ему слишком парадными. Закон он издать не мог; но со своим обычным упрямством решил, что если это не закон для всех, то по крайней мере закон для него.

После долгих препирательств он все-таки настоял на своем, не взял отсрочки и в назначенный срок с чемоданом явился в военный комиссариат.

Потом с ним долго прощались, было немало выпито и сказано хороших слов, и уже за день перед самым отъездом в знак внимания и в залог того, что он после армии вернется именно сюда, как к себе домой, — в новом, только что отстроенном корпусе ему дали комнату. Накануне отъезда он перетащил туда свои немногочисленные вещи и сказал одному из товарищей, намеревавшемуся, по его сведениям, жениться, что комнату на все время отсутствия он оставляет в его распоряжение.

Когда он уже ехал в эшелоне, двигавшемся на Дальний Восток, и глядел в дверь теплушки, ему невольно вспоминалась эта пустая комната с раскладной койкой и двумя чемоданами — его новый дом, куда ему предстояло вернуться...

Ему пришлось служить в пограничном отряде, неподалеку от станции Манчжурия. Кругом высились лесистые сопки, а в ясные дни вдальеке, на той, манчжурской, стороне были видны отроги Хинганского хребта,

Это были годы, когда мы строили на Дальнем Востоке стратегические железные дороги и укрепления и новые военные заводы и даже целые города, такие, как Комсомольск-на-Амуре. Дальний Восток стал в 1934 году таким же романтическим словом, каким был в 1932 году Магнитогорск, а до него — Днепрострой.

На границе все время было тревожно: то ее перелетали самолеты, то происходили мелкие пограничные стычки, в каждой из которых можно было предполагать начало международного конфликта. В этих условиях пограничники воспитывались так, как, быть может, должна была воспитываться вся армия. Они были всегда в ощущении непосредственной опасности; придирчивые требования внешней дисциплины сразу же показались Сабурову осмысленными, само собой разумеющимися.

За первые два года, пока Сабуров был рядовым, а потом учился в школе младших лейтенантов, с ним не произошло никаких особых происшествий. Он делал длинные тренировочные марши зимой и летом, участвовал в облавах, стоял в дозорах, но все как-то так выходило, что происшествий случалось не в то дежурство, которое нес он, и не в ту облаву, в которой он участвовал. Только однажды, в конце срочной службы, командир приказал Сабурову отконвоировать в штаб отряда пойманного японца. Японец был шпионом опытным и решительным. Отстреливаясь, он ранил одного и убил другого пограничника, и теперь его поручили конвоировать Сабурову как человеку исполнительному и твердому. Это был первый враг, которого видел Сабуров за свою жизнь. Японец шел между четверьмя пограничниками, мелко и быстро переступая короткими, сильными ногами, в ободренных синих бумажных штанах и надетых на босу ногу сандалиях. Голова у него была бритая, с короткими черными, начинающими седеть волосами. Лицо его ничего не выражало — ни гнева, ни уныния, ни беспокорства — ничего... Это был, видимо, человек спокойный, опасный и сильный, и чем больше Сабуров смотрел на него, тем определеннее ему казалось, что очень правильно они делают, что ходят в пятидесятикилометровые марши и спят всегда с оружием под рукой, и что только так и надо, потому что иначе десятки и сотни тысяч вот таких же, как этот, — маленьких, бритых, решительных людей могут нас одолеть.

Жизнь на заставе была однообразной, и если бы не постоянная занятость, то ее можно было бы назвать скучной. Но обычно Сабуров был занят так, что впервые в его жизни случались дни, когда он не успевал даже на полчаса раскрыть книжку.

Уже через несколько месяцев службы Сабуров привык к чувству суровой подтянутости, которая царилась здесь. В этом был свой пафос, своя особая радость чувствовать себя солдатом с головы до ног. И хотя по временам бывало тяжело, но в конце концов в этом и состояла военная служба. Очевидно потому, что, прослужив два года в пограничных войсках, люди чувствовали себя солдатами, а не временно отбывающими номер штатскими людьми, после окончания службы, несмотря на ее особую тяжесть, среди пограничников оказывалось больше сверхсрочников, чем где бы то ни было.

Военная служба, вообще говоря, не влекла к себе Сабурова, но именно потому, что он не рассчитывал оставаться на сверхсрочную, то время, что ему приходилось пробыть в армии, он решил использовать вполне и до конца так, чтобы, отслужив действительную, навсегда чувствовать себя солдатом.

В 1936 году, когда Сабуров после школы был произведен в младшие лейтенанты, ему предстояло увольняться. Положение на Дальнем Востоке стало таким трудным, что почти перестали давать отпуска и увольнения. И Сабурова оставили служить еще на год. Этот год он командовал взводом и почувствовал в себе тягу не только учиться, но и самому учить и воспитывать людей. Это было не только необходимо, это было, кроме того, еще и интересно...

...В жаркий июльский день 1937 года во взводе Сабурова произошла история, чуть не окончившаяся очень плохо для него. По неожиданной сорокаградусной яростной жаре, какая бывает в Забайкалье, роте приказали сделать сорокадвухкилометровый марш. Срок был дан жесткий —



К. М. СИМОНОВ В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ

Фотография А. Л. Лесса. Москва, 10 января 1944 г.

Собрание А. Л. Лесса, Москва

шесть часов. Местность была неровная и в том направлении, куда надо было двигаться, почти совершенно обнаженная. По задаче все было построено так, что взвод Сабурова обязан был явиться к сроку, чтобы выручить условно окруженную японцами заставу. Солнце невероятно жгло. Когда три четверти пути уже было сделано, один из красноармейцев упал от солнечного удара. Сабуров, не считая возможным остановить марш, оставил вдвоем с пострадавшим шедшего при взводе фельдшера и двинулся дальше. Ночью, когда марш был закончен и с заставы были посланы верховые лошади за фельдшером и красноармейцем, — оказалось, что красноармеец умер от удара на руках у фельдшера. Это было в масштабах отряда пресловутое «ЧП» — чрезвычайное происшествие.

Сабурова как человека, отвечающего за свой взвод и, следовательно, по тогдашним понятиям — виновника происшествия, — отдали под суд. На допросе Сабуров не пожелал признать за собой вины ни полностью, ни частично и утверждал, что, делая такой марш, под таким солнцем и с такой скоростью, он выполнял боевую задачу. И что, оставив красноармей-

да вдвоем с фельдшером, он сделал правильно, потому что иначе не выполнил бы приказанного. Больше того, — если бы повторилась такая ситуация, он бы считал своим долгом командира поступить точно так же, как поступил.

Всерьез возразить на это было трудно, но «ЧП» есть «ЧП». О том, что в мирной обстановке погиб во время похода красноармеец, приходилось доносить начальству и неизвестно, как оно на это посмотрит, и трибунал, не желавший брать на себя ответственности и оправдывать Сабурова, приговорил его к трехлетнему лишению свободы без поражения в правах — за халатность и превышение власти.

На счастье Сабурова командовавший пограничным районом полковник Савельев заинтересовался этим приговором и вызвал Сабурова к себе. Стоя перед ним, Сабуров в той же резкой форме повторил все, что говорил перед трибуналом. Полковник — старый служака — сам человек строгий, неуживчивый и требовательный и не раз уже получавший взбучки от военной партийной комиссии за то, что он, по ее мнению, слишком свирепствует в наведении излишней дисциплины, посмотрел на Сабурова с невольным сочувствием. Его сердило в этом деле и то, что трибунальцы оказались перестраховщиками и трусами, а еще больше то, что он прекрасно знал: не попади это дело к нему — и отличный, дисциплинированный командир, каким, по его мнению, был Сабуров, неминуемо бы отсидел три года.

Всего этого он, само собой разумеется, Сабурову не сказал, а перелистав его дело, только сделал на нем какую-то пометку, перевернул и, словно считая разговор об этом законченным, спросил Сабурова:

— На пожизненную в армии не останетесь?

— Нет, — сказал Сабуров.

— Напрасно, из вас мог бы получиться военный.

— Если будет война, тогда... — начал Сабуров, но полковник не дал ему договорить.

— Если будет война, — сказал он резко, — будет поздно идти в армию всем тем, кто должен был бы идти в нее и оставаться в ней сейчас.

Он очевидно хотел сказать еще много наболевшего, но, вспомнив, что перед ним подчиненный, да к тому же еще формально не освобожденный из-под суда, полковник оборвал фразу на полуслове и добавил резко:

— Напрасно не остааетесь на пожизненную.

Сабуров промолчал.

— Разрешите идти? — сказал он.

— Идите.

Осенью, ровно через три года после того, как Сабуров уехал из Магнитогорска, он вылез на его неузнаваемо изменившемся вокзале. От военной службы у него осталась только форма со споротыми петлицами да военная книжка командира запаса, лежавшая в нагрудном кармане рядом с партбилетом, в котором за июльское происшествие появился первый строгий выговор с предупреждением.

Сабуров приехал в Магнитогорск поздним осенним вечером. Там, где были котлованы и строительная площадка, вытянулись улицы. Почти нигде уже не было следов строительного беспорядка, и хотя он знал этот город, как свои пять пальцев, но все-таки улицы настолько изменились, что он с трудом нашел то здание, в котором была его комната.

Он поднимался по лестнице с некоторым колебанием. Во-первых, прошло три года, во-вторых, он сам пустил сюда товарища с женой, в-третьих, мало ли что могло случиться за это время... Но, постучав в дверь, он столкнулся лицом к лицу с Петей Соломиным собственной персоной.

— Приехал, — сказал Соломин. — Я тебя в прошлом году в это время

поджидал. Ну уж, думаю, в этом году непременно приедешь... Заходи, гостем будешь.

Сабуров вошел в комнату и сразу увидел в ней тот холостяцкий беспорядок, который свидетельствует об отсутствии женщины.

— А жена? — спросил он.

— Разлучили, — сказал Соломин, — учиться в прошлом году уехала, в МГУ. Так что, если не сгонишь с квартиры и сам не женишься, будем тут вдвоем рек вековать. Вот постель, вот кушетка...

Соломин вскипятил чай, и они засиделись далеко за полночь, рассказывая друг другу эти три года. Впрочем, что до Сабурова, он ограничился тем, что отвечал на вопросы: — Служил... Граница... Хорошо... Все в порядке... — отвечал теми словами, за которыми Соломин мог предполагать нормальную армейскую жизнь без особых событий и происшествий.

Но когда зашел разговор о Магнитогорске, Соломин не ограничился такими скупыми ответами. Однако в речи его все время перемешивались две разные интонации: он с азартом и воодушевлением подробно рассказывал обо всем, что касалось строительства Магнитогорска — о новых корпусах и цехах, об окончании новой котельной, построенной и сданной, — но когда речь заходила о людях — знакомых и незнакомых, — часто ограничивался междометиями: — Живут, ничего... как обычно... — говорил с такой неохотой, что казалось, что этот разговор у него вызывает зубную боль. Его обычная общительность осталась, а жизнерадостность исчезла. Он стал каким-то нервным, усталым и минутами, пожалуй, даже желчным, чего раньше Сабуров за ним никогда не замечал.

Сабуров долго слушал Соломина, потом вдруг, прервав его на полуслове, молча положил ему на плечи свои тяжелые руки и, глядя прямо в глаза, спросил в упор:

— В чем дело?

— Что в чем дело?

— В чем дело, что с тобой, чего мучаешься? — спросил Сабуров.

— Ничего не мучаюсь, все в порядке, почему мучаюсь... — попробовал отговориться Соломин.

— Нет, мучаешься. В чем дело, почему мучаешься? Что с тобой?

Теперь Соломин в свою очередь поглядел на Сабурова долгим, внимательным, словно что-то оценивающим и прикидывающим взглядом, и вдруг, словно сорвавшись с цепи, заговорил яростно, захлебываясь, так, что слова не попевали друг за другом.

— Да, мучаюсь, не представляешь себе... не так всё...

— Что всё?

— Всё. Построили, хорошо построили и еще строим и тоже хорошо.

Но говорить с людьми иногда сил нет, понимаешь, — сил нет...

— Почему?

— Потому что брать стали то одного, то другого, потому что исключать из партии пачками стали... Потому что я вот сижу перед тобой — я с тринадцати лет мальчишкой на строительствах работаю, я этот Магнитогорск своими руками построил, я в него и пот и кровь вложил, всё вложил, что было, — а я вот сижу с тобой и не знаю — может быть, мне ночью поступчат и скажут: «Гражданин Соломин, собирайте вещички»...

— А почему?

— А не потому, что я плохо работаю и не потому, что я что-нибудь не так сделал... Всё я делал что нужно и как мне совесть велела... А потому, что у меня начальник участка сволочь оказался, правда, сволочь, самая настоящая, а я у него помощником был, два года его знал, а что он сволочь — не знал. Я же ему не нянька... И потом, если он настоящая сволочь, откуда я мог знать, когда этого НКВД не знало? Откуда я мог знать? Что, я школу проходил, как по физиономиям характер изучать? Не знаю, Але-

ша, — вдруг добавил он, сжав руками виски, — не знаю... Оказалось много гадов кругом, но не вышибить у меня из сердца того, что под эту гребенку сейчас еще больше хороших людей чешут. Если гады выяснились, то ведь за то, что они поздно выяснились, по-моему, отвечать должны те, кто на это дело поставлен, те, кто за ними следить должны, кто поздно заметил! А почему за это должен садиться сосед по квартире — я этого не понимаю, не понимаю и не пойму... Почему я должен строгий партийный выговор в билете иметь и думать о том, что со мной может случиться не сегодня-завтра самое худшее? Только из-за того, что инженер-подлец у меня начальником участка был, а я не знал и другие люди не знали... Я за всякого человека поручиться не могу, но за некоторых могу, всей душой могу. И вот — не знаю — недавно Сеньку Ермолаева из партии исключили за связь с врагами народа. Но я же его знаю и ты его знаешь... Он же годами ночей не спал, он же на бетоне все руки и все ноги поморозил, лучше, чем он, человека не было... И вот его исключили. И идет собрание, и я не могу в его защиту слова сказать, потому что если я в его защиту слово скажу, — за это меня исключат. И я сижу, понимаешь, и молчу. С тех пор, как это собрание было, я сам не свой — сидел на нем, молчал и чувствовал себя не то подлецом, не то трусом. Ну, я же не трус, я готов под пули пойти, воевать, но я боюсь, что меня из партии исключат, потому что если исключат, значит я — бывший партиец, я уже дело, которое делаю, не смогу дальше делать, работать так, как работаю, — не смогу. Я уже буду получеловеком... И я сижу и молчу. Тяжело, Алеша... И строим как строили, и металл рекой льется, и как будто и город такой, как мечтали мы с тобой его построить, стал, а на душе тяжело как никогда. Вся радость ушла. Ну, ладно об этом, сам увидишь и услышишь, многое переменялось... Поговорим о другом. Как у вас там природа-то на границе — хорошая, небось, сопки, лес. Я когда-то бывал в тех краях...

Сабуров тоже был рад переменить этот тягостный разговор, и они вместе начали вспоминать природу Забайкалья — ее лесистые холмы, ледяную безветренную зиму, жаркое лето. А потом, возвращаясь к Магнитогорску, как-то невольно, без сговора, вспоминали уже не о сегодняшнем, а о том, как начинали строить и как только еще мечтали о таком городе, который сейчас уже существовал на деле, поднимаясь этажами и дымя трубами.

Когда Сабуров утром явился в дирекцию комбината, ему обрадовались и предложили работать прорабом нового строительного участка жилкомбината. Город, который уже давно стал гораздо больше, чем предполагалось вначале, все еще продолжал строиться, и опасения Сабурова, что ему как строителю здесь не найдется работы, оказались наивными.

Со следующего же дня Сабуров окунулся в работу. Как всегда, была спешка, и хотя после армии ему полагался отпуск, но отпуска ему не предложили, а он не потребовал и написал матери очередное, пятое или шестое за жизнь письмо, что пока приехать домой не сможет.

Этот год прошел в работе и, можно сказать, почти она одна и составила весь этот год — и потому, что Сабуров стосковался по строительству, и потому, что в эти трудные времена он считал своей особенной обязанностью работать не покладая рук. Часто случалось так, что, живя в одной комнате с Соломиным, они подолгу не виделись, заставая друг друга только спящими и уходя раньше, чем проснулся сосед. Но как бы там ни было, все-таки жизнь в одной комнате сильно сдружила их и заставила узнать друг друга ближе, чем раньше. Сабуров, сам сдержанный и никогда не горячившийся, любил в Соломине ту юношескую горячность, то неумение ничего прятать за душой, ту доверчивость к людям и горечь при разоча-

«ДНИ И НОЧИ»

Первая отдельная публикация очерка
К. М. Симонова «Под Сталинградом.
Дни и ночи». М., изд-во «Правда», 1942

Обложка с автографической надписью
автора

Литературный музей, Москва



ровании в них, которая так часто доставляла Соломину неожиданные огорчения.

По мнению Сабурова, это был человек иногда легкомысленный, но самоотверженный на работе, добрый, готовый разделить с товарищем последнюю рубашку и переживать за другого больше, чем за себя.

Когда однажды Соломин не вернулся домой (его арестовали по дороге с работы), на следующий день было партийное собрание, на котором его задним числом исключили из партии, а Сабурова спросили, как он, живя в одной комнате с Соломиным, проглядел, что из себя представляет этот человек, арестованный за контрреволюционные высказывания.

Сабуров ответил, что он не понимает, почему мог быть арестован Соломин, с которым действительно жил в одной комнате и всегда знал его за хорошего работника, хорошего товарища и хорошего человека.

Собрание встретило слова Сабурова молчанием, хотя он чувствовал, что в душе многие были согласны с его мнением о Соломине.

За время этой длинной и тяжелой паузы Сабуров молча и внимательно смотрел в лица людей, которых он знал, — в большинстве своем они были хорошими людьми и его товарищами, и в то же время как-то уж все так выходило, что вот сейчас, через пять минут, они не поддержат его и не выступят в его защиту и не скажут своего настоящего мнения. Он отчетливо понял, чем ему грозят только что сказанные слова, но в то же время он чувствовал, что есть в его жизни какая-то грань, какой-то предел, до которого можно быть молчаливым, осторожным и сдержанным, но после которого это становится слишком противным. Он предвидел все последствия, но в то же время чувствовал, что для него лучше не жить, чем струсить в эту минуту, лучше пойти на что угодно, чем не сказать

сейчас ту правду, которую в самом деле он думал о Соломине. И на вопрос председателя, желавшего помочь и дать ему возможность выпутаться, что он подразумевает под своими словами, — он повторил слово в слово только что сказанное.

Пять следующих месяцев прошли в мытарствах. Он был в райкоме, потом в обкоме; он упрямо дрался за то, чтобы и не отказаться от своих слов и в то же время остаться в рядах партии. На пятый месяц его вызвали в Москву, в комиссию партийного контроля.

Он приехал в Москву на последние деньги, потому что был уволен с работы и два месяца нехватали проболел. Он приехал обносившийся, усталый, злой, но полный решимости доказать свою правоту и веря в то, что в конце концов его поймут и поверят ему. Иначе не могло быть. Он не верил правоте многих людей, но верил правоте партии. Это было для него святая святых, без веры в это он не мог бы жить.

Тот день, когда Сабуров убедился, что он был прав в своей вере, когда он, выйдя из серого здания комиссии партийного контроля, шел по Большой Дмитровке, почти шатаясь от счастья, наталкиваясь на людей и ничего не видя перед собой, — был, может быть, не только самым счастливым, но и самым важным днем в его жизни. Кончились мытарства и неприкаянность, тягостное бездельное существование, но это было не главное. Главное было то, что кончилась та пятимесячная мучительная тоска, с которой он ждал, чтобы ему в конце концов поверили, поверили до конца, потому что он принадлежал к числу тех людей, которые требуют, чтобы им поверили до конца, и без этого не могут или почти не могут существовать.

Он не поехал обратно в Магнитогорск и остался работать в Москве. По направлению Московского комитета партии он пошел на работу инструктором бетонного дела в школу ФЗУ. Первую неделю эта работа казалась ему непривычной. Он привык учить людей, но привык учить их походя, строя, на лесах, между делом. Сейчас ему пришлось заняться только этим, но тот интерес, с которым эти шестнадцатилетние мальчишки слушали его, те торопливость и нетерпение, с которыми они хотели поскорей стать заправскими строителями, все это передавалось и ему; и к концу первого месяца работы в ФЗУ он вдруг почувствовал себя почти таким же азартным и торопливым, как эти мальчишки.

Однажды, окончив работу раньше, чем обычно, он возвращался домой через Москву пешком. Была ранняя весна, еще морозило. Ему нравилось идти по этой вечерней, сиявшей огнями Москве, которая казалась как-то особенно праздничной в этом сиянии и хрусте снега, в этих огнях и шуме вечерней уличной толпы.

На углу улицы Герцена, там, где темнело красное здание Театра Революции, он увидел шумную толпу и услышал крики: — Нет ли билета, нет ли билета? — В этом театре шел третий или четвертый спектакль пьесы «Павел Греков», о котором только что появилась статья в «Правде» и говорила вся Москва. На самом углу Сабуров нос к носу столкнулся с человеком, который хотел продать билет и не мог, потому что люди, кольцом окружавшие его, отталкивали друг друга и все разом хотели дотянуться до этого билета.

Сабуров взгляделся в показавшееся ему знакомым лицо этого человека и, потеряв свою обычную сдержанность, закричал:

— Петя!

— А-а-а,— сказал человек.— Алеша! Как ты здесь?

Это был Соломин, побледневший, осунувшийся, но живой и здоровый и неведомо как очутившийся в Москве.

— Не продаю,— крикнул он, раздвигая руками окружавших его людей, и обнял Сабурова.



«ОТСТОИМ МОСКВУ!»

Плакат Н. Н. Жукова и В. С. Климашина. «Искусство». М., 1941
Центральный музей Вооруженных Сил СССР, Москва

— Ты, ты давно здесь? — почти заикаясь от волнения, спросил Сабуров.

— Уже скоро два месяца.

— Совсем?

— Совсем. У меня всё в порядке. Ну, а ты как? Почему в Москве?

— Почему я в Москве? — несколько удивленно спросил Сабуров и вдруг понял. — А ты что, в Магнитогорск не заезжал, прямо оттуда и сюда?

— Не заезжал, — сказал Соломин.

Сабуров окончательно понял, что Соломин не только не знает, но и не догадывается о том, что история произошла не только с ним, но и с Сабуровым.

— Я к жене приехал, теперь будем здесь вместе, — сказал Соломин. — А ты почему здесь?

— Я? Я тоже здесь насовсем, работаю, — сказал Сабуров.

— Почему уехал оттуда, с начальством что ли поругался?

— Да как тебе сказать... — Сабурову вдруг не захотелось копошиться в прошлом, которое — он чувствовал по всему, что носилось сейчас в воздухе, — было прошлым не только для него, но уже становилось прошлым и для всей страны. Ему не хотелось копошиться в этом и говорить Соломину о том, что случилось с ним, словно напрашиваясь на его благодарность. К тому же он искренне считал, что этой благодарности не заслуживает; он верил в человека и твердо стоял на этом — и оказался прав. Это было именно так, как и должно быть с людьми, а если другие делали не так, то это была просто их беда и несчастье и отнюдь не означало, что он, Сабуров, сделал что-то особенное.

— Почему ты билет продаешь? — спросил Сабуров.

— Жинка прихворнула, а я все-таки хоть один, да решил пойти. Ну, теперь бог с ним, я оба продам. Пойдем ко мне...

— Нет, напротив, — сказал Сабуров, — пойдем сюда, я куплю у тебя билет. — И они оба рассмеялись.

В зале было тесно и шумно, он был набит до отказа. Очень многие зрители, так же как Сабуров и Соломин, переживали на этом спектакле свое недавнее прошлое. Они не знали, хорошая или плохая пьеса. В ней существовала для них их жизнь, в ней торжествовала поправленная справедливость, и люди волновались так, как ни на одном спектакле. Когда в последнем акте Павла Грекова восстановили в партии, зал загремел аплодисментами, и Сабуров услышал рядом с собой громкие, несдерживаемые всхлипы. Соломин рыдал. Сабуров почувствовал, что у него у самого текут по щекам слезы, и торопливо, пока было еще темно, вытер их.

Они вышли из театра молча: Соломин — потому, что он вспомнил все, недавно происшедшее с ним, а Сабуров — потому, что смотрел на Соломина и точно, по своему опыту знал все, что происходило в его душе.

Начиная с этого вечера, Сабуров часто стал бывать у Соломина. Жена Соломина, о которой он так много слышал, но которую видел впервые, оказалась большеглазой, худенькой девушкой, с которой разговаривать было одновременно и интересно и опасно, потому что она всегда знала больше своего собеседника и при добром сердце обладала злым языком, никогда не упуская случая подтрунить. Сабуров понял то обожание, с которым всегда говорил о своей жене Соломин. В этом маленьком существе таилось столько взрывчатой энергии, она так все удивительно успевала — и ходить в университет, и бесконечно читать и заниматься, и шить, и обмывать Соломина, и на скорую руку готовить дома, что поистине она казалась добрым гением этого маленького жилища. Кроме того, — это было самое главное — в ее присутствии почему-то неловко было сказать

глупость или сознаться в том, что ты некультурный и не знаешь самых простых вещей. Неловко не оттого, что она подчеркивала свое превосходство, — напротив — она всегда со своей обычной стремительностью спешила все объяснить, помочь, тут же вытащить какую-нибудь книгу, нет, неловко было потому, что она своим примером наглядно показывала, что научиться всему тому, чему она научилась, могут и они.

— Мой медведь, — говорила она о Соломине, и в глазах ее было обожание. Она, должно быть, любила Соломина за открытую веселую душу, за горячность и доброту и вообще за то, что этот большой ребенок был ее ребенком, о котором она должна была печься. Именно она, как узнал Сабуров, когда с Соломиным случилось несчастье, не колеблясь, дошла до самых больших людей и своей верой и настойчивостью убедила их в том, что она права. Теперь Соломин после всего этого стал ей вдвое дороже.

В атмосфере их дома, заваленного книгами и учебниками, полного разговоров об университете, о профессорах и научных теориях, Сабурова впервые в жизни потянуло учиться. То есть он всегда представлял себе, что рано или поздно пойдет учиться, но эта минута всегда казалась ему далекой. Он всегда откладывал ее куда-то на потом, но сейчас ему показалось, что это «потом» уже близко подступает к нему. В конце концов, ему скоро должно было стукнуть двадцать семь. Еще твердо не решив, куда он пойдет учиться, он в то же время решил про себя, что во всяком случае надо начинать готовиться и назначил себе начало этой подготовки на июль 1939 года, когда ему должны были дать отпуск.

События на озере Буир-Нур, которые потом стали называть событиями на реке Халхин-Гол, на время отвлекли его от мыслей об учебе. Это было близко, очень близко от тех мест, где он служил в пограничном отряде. Может быть, случись этот конфликт где-нибудь в другом месте, — обычное правило Сабурова не соваться, не высказывать, делая свое дело именно там, куда он поставлен, удержало бы его от того шага, который он сделал сейчас. Но конфликт разразился вблизи тех мест, где он служил, и от этого ему казалось, что именно он, Сабуров, может быть необходим и полезен там, и это заставило его подать ходатайство об отправке его в ряды войск в район конфликта.

На бумагу долго, полтора месяца, не было никакого ответа, и то, что он находился теперь в постоянном ожидании, на время отвлекло его от мыслей об учебе. Он даже отменил отпуск и каждый день, возвращаясь с работы, ждал, нет ли у него в ящике официального пакета. Он с удивлением обнаружил в себе то, чего раньше не подозревал, — задорное желание непременно быть там, где все это происходит. Очевидно, это ощущение незаметно для него самого воспитала в нем армейская служба, и если он никогда в мирное время не представлял себе, что он может постоянно служить в армии, то сейчас, когда была война, — а насколько он знал тамошние условия, этот конфликт был почти войной, — ему было как-то странно и неудобно оттого, что во время войны он не на войне.

Через полтора месяца, наконец, пришел официальный ответ. Сабурову сообщили, что призывать его из запаса и посылать в район конфликта нет необходимости. Он не стал больше писать, вернувшись к своему обычному состоянию дисциплинированности, но волнение его не прошло, и те полтора месяца, что еще продолжался конфликт, он все старался вычитать между строк в газетах — не разразится ли там, на Востоке, что-то гораздо более крупное, то, чего он всегда с такой тревогой ждал, служа три года на границе.

Его не призвали из запаса и в финскую кампанию, очевидно, было достаточно людей и без него.

В декабре, к удивлению сослуживцев, он неожиданно взял себе месячный отпуск и начал заниматься. Легче всего ему давалась математика и физика. Что до литературы, то к его удивлению обнаружилось, что это было самым большим камнем преткновения. Хотя он прочел много книг, но как на беду оказалось, что читал он как раз все не то, что было в официальной программе, и наоборот — многое из того, что там было, не читал никогда. Читать было, конечно, не трудно, наоборот, радостно, но это отнимало много времени, особенно при его привычке читать не спеша, иногда задумываясь, надолго отрываясь от книги, иногда выписывать что-то, неожиданно близкое и отвечающее его затаенным мыслям. Собственно говоря, он, пожалуй, с самого начала чувствовал, куда ему надо идти учиться. Ему хотелось учиться так, чтобы потом самому учить. Хотелось стать учителем, преподавателем, может быть, когда-нибудь профессором, и преподавать не физику или математику, а литературу, историю, что-то такое, где можно высказать свои взгляды на жизнь, свои заветные мысли, свои жизненные правила и убеждения. И если он, где-то в глубине души уже решившись, пока заставлял себя считать, что еще не решился: это происходило потому, что ему было как-то странно представить себя вдруг преподавателем истории после того, как он столько лет был строительным прорабом. Это был странный скачок.

По всем законам логики он должен был бы идти в строительный институт, но этого как раз ему и не хотелось. Зимой, после отпуска, он окончательно решился и так и сказал Кате — жене Соломина, — что наверное с будущей осени у них на историческом факультете появится великовозрастный студент Сабуров, которого, очевидно, как в школе, за великовозрастность будут сажать на «камчатку». Катя сказала ему, что у них нет «камчатки» и что жаль только одного, что он будет на первом курсе, а она на четвертом, а то бы вместо «камчатки» посадила его рядом с собой.

Однажды решив, Сабуров уже больше не колебался и всю весну и лето упорно готовился, с каждым днем и с каждой книгой все более убеждаясь, что он правильно решил.

В том, что он так решил, были и мелкие причины: и то, что Катя много рассказывала о своем историческом факультете, и то, что исторические книги, попадавшие ему в руки, всегда привлекали его своей чужой, незнакомой жизнью, и то, что сначала на строительстве и в армии, а теперь в своем ФЗУ ему приходилось много учить людей, — правда, совсем другому, но все-таки учить, — но главная причина была не здесь. Она была гораздо глубже и сильнее...

Сабурову хотелось стать учителем потому, что ему казалось, что у нас молодежь учат неправильно, из нее выходят не совсем такие люди, какие должны выходить. Особенно его укрепляли в этом убеждении 37-й и 38-й годы — не потому, что ему самому пришлось тяжело, а потому, что он видел, как одновременно страдали и в то же время недостойно себя вели многие люди, которых он раньше уважал.

В эти годы у людей развились два качества, которые потом, постепенно исчезая, все-таки долго еще мешали им жить, — подозрительность и равнодушие. То, что кругом оказалось много негодяев, но еще больше то, что слишком на многих людей бросалась тень этими негодьями, то, что слишком многих несправедливо заподозрили, а еще большому количеству людей несправедливо не поверили, — все это породило те подозрительность и равнодушие, которые подчас делали жизнь нестерпимо тяжелой. Негодяй работал. На службе у него были начальники и подчиненные; он жил в квартире, у него были соседи; он был женат, и у него были дети, а у его жены — родственники. И в конце концов он делал еще тысячу вещей: ходил в баню и покупал картины, играл в преферанс — и всюду были люди, так или иначе знакомые с ним. И хотя



НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ

Рисунок Г. Г. Нисского (гуашь), 1942

Третьяковская галерея, Москва

в большинстве случаев негодяем был только он один, но, благодаря развившейся общей подозрительности, тень от него падала иногда чуть ли не на десятки людей.

Это было какое-то страшное поветрие. И то, что человек всегда был с кем-нибудь знаком и его всегда можно было в чем-то заподозрить, — рождало в людях равнодушие и к своей, и к чужой судьбе. Минутами, не зная ничего за собой, они в то же время чувствовали, что с ними, вследствие клеветы или ошибки, могло все случиться. И все чаще, вместо того, чтобы заступиться за человека, которому ты абсолютно веришь, люди молчали или говорили ставшую страшной равнодушной фразу: «А все может быть...». И, поверив в то, что, случись с ним что-нибудь, люди не заступятся за него, человек тоже не заступался за других... Рушились привязанности, казалось, самые крепкие и дружбы самые старые. Если иногда они рушились оттого, что один действительно ошибался в другом человеке и тот оказывался мерзавцем, то еще чаще они рушились просто от недоверчивости, от трусости, от равнодушия. Причем эти трусившие люди были на самом деле храбрыми. Они были готовы подставить свою грудь и пожертвовать своей жизнью за родину и во имя родины, но в то же время заступиться за товарища, которому они верили, они не решались, больше жизни боясь потерять свое доброе имя. И именно потому, что они очень любили родину, они очень боялись, что по несправедливости или по ошибке за неосторожное слово или неосторожный поступок их зачислят в число врагов той родины, которую они любили больше жизни. И в этом было самое горькое и страшное...

Создавалась привычка все хвалить, закрывать глаза на недостатки, умалчивать о жертвах, о том, что все, что мы построили, делалось даром, что жить трудно, что мы живем бедней и трудней, чем бы это могло хотеться человеку. Между тем про себя, каждый по-разному, все это знали,

знали, что они живут тесно и холодно, что они недоедают, что они работают столько, сколько можно в силах человеческих, — и люди на это не жаловались и не намерены были жаловаться, но им было горько оттого, что обо всех этих жертвах, которые они с гордостью приносили родине, об них умалчивалось, — и от этого страдала гордость людей, их достоинство. Им казалось, что почему-то не доверяют до конца их уму и сердцу, тому, что, отлично зная все трудности и все тяжести, они тем не менее готовы на них и пойдут на еще большие, если это понадобится стране.

Сейчас, когда многое из этого было уже в прошлом и Сабуров был полон радужных надежд на будущее, для него самым большим желанием было воспитывать в людях правдивость, чувство собственного достоинства, умение дружить, умение не отказываться от своих слов и смотреть в лицо правде жизни.

Сабурову казалось, что если мы хотим стать бесконечно сильными, а мы этого хотели, то одним из самых главных лиц в государстве должен стать учитель, который еще в мальчишках и девчонках начнет воспитывать все эти черты. И вот ко всем разнообразным и иногда мелким причинам, по которым он решил идти учиться в университет, прибавилось это главное желание, целиком охватившее его всего и сделавшее почти одержимым.

Страна пережила тяжелую и мучительную болезнь, которая не испортила ее прекрасную душу. Она нанесла ей душевные раны, которые нужно было залечить, а болезнь не должна была повториться больше, потому что люди — взрослые и юноши — должны были стать такими, чтобы в их среде больше не рождались и не процветали негодяи, существование которых один раз уже породило эту горькую общую болезнь.

Сабуров старательно занимался, и когда по ночам усталый, с разболевшейся головой, иногда не раздеваясь, потому что через два часа нужно было вставать, — он бросался на койку, то его последние мысли перед сном были всегда ясны и радостны. Таким же ясным и радостным казалось ему будущее страны и его собственное. За это время самым большим и важным днем в его жизни был тот день, когда Шверник по радио говорил о решении правительства ввести восьмичасовой рабочий день. Это была суровая, правдивая, отвечавшая самым задушевным мыслям Сабурова речь. В ней говорилось о том, что восьмичасовой рабочий день нужен потому, что стране нужно готовиться к войне, потому что международное положение складывается угрожающе, в общем, говорилось о том, что люди должны работать больше, потому что этого требует страна.

У Сабурова было радостное ощущение того, что он прав в своих мыслях, что это именно та большая, суровая правда, которая нужна. И надо сказать, что в последующие дни он не слышал у себя на работе никаких шёпотов, никаких кривотолков об этом новом законе, потому что самая суровая правда была сказана вслух и к ней нечего было прибавлять.

Сабуров невольно вспомнил о том, как когда-то был издан закон о сокращении отпусков роженицам. Изданию его предшествовала кампания в газетах, где многие женщины высказывались за это сокращение и говорили, что это так и надо, что им вполне достаточно сокращенного срока отпуска. Может быть, те, которые писали это, были искренни в своем энтузиазме, но в общем под этим все женщины подписаться не могли. Сабуров понимал, что этот закон необходим, потому что государству нужно работать не покладая рук, что кругом тревожная обстановка, что нужны деньги и рабочие руки, но он не понимал одного: зачем было не сказать этого прямо, зачем эту государственную необходимость, которую, как бы она ни была трудна, все бы прекрасно поняли, нужно было облекать в форму добровольных пожеланий. Как Сабуров тогда огорчился, слыша бесконечные, ненужные кривотолки и остроты вокруг этого закона. Он

был убежден, что их бы не существовало, если бы вместо всех этих дискуссий было сказано, что женщины в трудную минуту должны принести стране эту нелегкую для них жертву...

И вспоминая теперь последнюю речь о восьмичасовом рабочем дне, он с особенной радостью чувствовал, как правильно было сказано об этом теперь, как эта суровая правда глядела в будущее и как хорошо, просто и мужественно принимал ее народ.

Осенью 1940 года Сабуров сдал экзамены и поступил на первый курс исторического факультета. Ему исполнилось двадцать восемь, и на своем отделении он был самым старшим. Было немножко странно сидеть за столом среди восемнадцатилетних. Странно было, вдруг перейти на стипендию, после многих лет большого и привычного заработка считать каждую копейку и есть не всегда досыта, но все это были пустяки. Он так радостно, сильно; всей душой взялся за учебу, что сам себе минутами казался могучим и неутомимым.

В ночь, после того как весь год молчаливо слушавший лекции, почти нигде не бывавший, он с неожиданным блеском сдал первый годовой экзамен, — в эту ночь разразилась война.

Обрушилось то, чего все ждали и во что где-то в глубине души все-таки до конца не верили.

В это воскресенье, идя к себе в университет через Москву, Сабуров невольно задумался надо всем своим прошлым. Москва в этот день ему понравилась. Она была людная, несколько более обычного торопливая, но спокойная. В городе не было ни истерик, ни горьких слез, ни широких улыбок; она была деловита и, как это ни странно, почти обычна. Было такое ощущение, что весь город в ответ на слово «война» сказал: «Ну, что ж, раз нельзя иначе, — пусть война».

Перебирая в памяти все свои волнения и огорчения последних лет, все свои тревоги и споры с людьми, Сабуров понял, что самое главное, что в глубине души его всегда волновало, — это как раз то, что началось сегодня ночью, — война. Именно предчувствуя ее, он огорчался, когда люди мало читали, и злился, когда не крепко дружили, и приходил в ярость, когда не держали своего слова. Все это, все незаметные качества, из которых на его глазах складывались человеческие характеры, все мелочи, из которых лепилась жизнь, все ошибки в воспитании, которые проходили на его глазах, вся самоотверженность в работе, которой люди научились, и вся беспорядочность и неаккуратность, от которых они не отвыкли, все это вместе взятое должно было теперь лечь на ту или иную чашу военных весов и в не меньшей, а может быть, в большей степени, чем танки и самолеты, определить силу армии, которая вставала сейчас на пути немцев, силу ее души, неразрывно связанную с твердостью ее руки.

Вечером в воскресенье Сабуров пришел в райвоенкомат, где среди страшной толкучки он поймал на лестнице знакомого работника, который сказал ему, что он пока не вызван, но чтобы ждал вызова в любую минуту.

Прошло десять дней, а его все еще не вызывали. В Москву приезжали первые беженцы из Гомеля, Могилева, Минска; газетные сводки становились с каждым днем тревожнее, и хотя по ним нельзя было составить себе ясного представления о том, где проходит линия фронта и что там происходит, но страшная сила удара, который нанесли нам, чувствовалась в воздухе.

Днем 3 июля, сидя у себя в комнате один, Сабуров услышал речь Сталина.

— Друзья мои! — сказал Сталин голосом, от которого Сабуров вздрогнул.

Кроме обычной твердости, была в этом голосе какая-то интонация, по которой Сабуров почувствовал, что сердце говорящего обливается кровью.

Это была речь, которую он потом на войне неизменно вспоминал в минуты самой смертельной опасности. Причем вспоминал даже не по словам, не по фразам, а по голосу, каким она была сказана, по тому, как в длинных паузах между фразами булькала наливаемая в стакан вода. И хотя в то утро он был один со своим репродуктором, но ему неизменно казалось, что он тогда, слушая эту речь, дал клятву умереть, но сделать на этой войне все, что в его силах. Он думал, что Сталину было тяжело и, в то же время, что он решил победить любой ценой. И это соответствовало тому, что чувствовал в эту минуту Сабуров, потому что и ему было тоже тяжело и он тоже решил победить любой ценой. Когда голос в репродукторе замолчал, Сабурову в той тишине, которая наступила в его пустой комнате, вдруг захотелось что-то сказать, ответить какими-то словами веры и твердости, дать знать Сталину вот сейчас же, что он, что бы ни было, до конца с ним. Что он — может быть, всего-навсего маленький человек — рад разделить с ним всю тяжесть его мыслей и всю силу его веры. Он подумал, что наверное в ту минуту те же чувства, что и он, испытали многие, почти все. Да, наверное так.

Вечером, не дожидаясь больше вызова из военкомата, он пошел и записался в ополчение, о котором говорил Сталин. Это казалось ему тем ответом, который он не мог сказать в репродуктор.

Сабуров пошел в ополчение рядовым так же, как в те дни шли все. Через неделю они выступили из Москвы. Были жаркие июльские дни. Бои шли где-то уже под Смоленском. Ополченческая дивизия, в которую попал Сабуров, на первых порах расположилась километрах в пятидесяти от начавшейся наконец стабилизироваться линии фронта. По ночам очень издали были слышны отголоски артиллерийской канонады. Пока это было все, что непосредственно напоминало войну.

Сабуров с его пограничной выучкой как-то само собой быстро стал командиром роты. В его роте добрую треть составляли преподаватели и студенты университета, часть из которых он знал лично. Остальные две трети в большинстве были работниками разных наркоматов. Оружие в дивизии прибывало постепенно: сначала были только винтовки, потом начали появляться пулеметы, потом минометы и орудия.

Сабуров учил людей днем и ночью, и порой ему казалось, что у него и в самом деле исчезла обычная потребность спать. Он учил своих бойцов всему, чему мог научить людей, которым через месяц, а может быть, через две недели нужно воевать и которые никогда не держали в руках винтовки. Его часто злила беспомощность и неумелость многих из них, но он никогда не повышал голоса, никого не ругал, а только объяснял и повторял, объяснял и повторял — и так без конца. На этих людей нельзя было сердиться, — так они искренне, безгранично хотели стать похожими на настоящих солдат, так торопились и так расстраивались, когда это у них не получалось. Всякие выговоры и выскания были бесполезны, потому что никакое впечатление от них не могло сравниться с тем огорчением, иногда почти отчаянием, какое эти люди испытывали сами, когда у них что-то не получалось. Профессор, преподававший в университете Сабурову древнюю историю, а теперь учившийся у него стрельбе и штыковым приемам, немолодой человек с сутулыми плечами и одышкой, почти плакал от горя после того, как не мог попасть в поясную мишень, изображавшую немца.

В мирное время любивший беспощадно высказывать свое мнение и упрямо ругаться из-за всего, что ему не нравилось, Сабуров сейчас переменялся. Он понял, что сейчас многому не время. Не время самодовольно говорить: «Вот я же был прав, я же так и считал...», — не время разбираться в том, почему все эти люди так или иначе миновали армию и сейчас перед лицом войны оказались необученными. Это все было в прошлом,

ДЛЯ БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ, СРАЖАЮЩИХСЯ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА

Дорогие товарищи!

Гитлеровские изверги, неся огромные потери в своих войсках, бросили в бой все свои резервы. Они пытаются до начала зимы захватить наиболее важные промышленные центры нашей страны. Гитлеровские орды торопятся. Они смертельно боятся роста нашей боевой мощи и русских мирных. Они боятся поднимающегося народного движения в оккупированных ими странах. Через груды трупов своих солдат и офицеров изверги рвутся в сердцу нашей Родины — к родной и любимой столице Москве.

Каждый из Вас обязан понять всю серьезность создавшегося положения, силу угрожающей опасности, отдать все на защиту отчизны и до последней капли крови защищать родную землю и нашу Москву от гитлеровских банд.

Советские люди — герои-богатыри — поднялись на врага. Весь народ стал бойцом. На фронт идут новые полки и дивизии, а с ними танки, авиация, артиллерия. Растут ряды народного ополчения, ширится партизанское движение.

Товарищи! Враг силен. Наступление его замедлено, но еще не приостановлено. В час грозной опасности жизнь каждого воина принадлежит отныне **РОДИНА ТРЕБУЕТ** от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, героизма и стойкости. **РОДИНА ЗОВЕТ** нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве. Армия людей должна захлебнуться в их собственной крови.



ЛИСТОВКА

Выпущена командованием Западного фронта 20 октября 1941 г.

Рисунок Н. М. Аввакумова

Музей Революции СССР, Москва

сейчас времени оставалось в обрез только на то, чтобы научить их, на то, чтобы молча и самоотверженно наверстывать все упущенное раньше, молча, без рассуждений.

Иногда Сабурову не терпелось принять участие в том, что происходило впереди, в пятидесяти километрах отсюда, пойти в кадровую часть, где было все на месте, обычно, по армейским порядкам и где он мог бы не только учить, но и учиться сам. Но обычно он преодолевал в себе это чувство и старался доказать себе, что он занят еще более важным делом, что он должен из того, что у него есть под рукой, тоже сделать роту, такую же или почти такую же, какую может дать кадровая часть.

Первое крещение огнем рота Сабурова прошла под Ельней. Их дивизию в решительный момент боя двинули наступать во втором эшелоне, и от этого боя у всех осталось то смутное чувство, которое возникает у людей, никогда еще не бывших на войне и считающих, что в бою

можно сразу увидеть врага и сразу встретиться с ним. Вышло все иначе.

Рота, рассыпавшись по полю, двинулась к оврагу, который был назначен как рубеж на случай возможной контратаки. Во время этого движения по перепаханному полю стала бить немецкая артиллерия, и несколько снарядов разорвалось среди людей. Трое было убито, семеро ранено. Через десять минут артиллерийский налет прекратился, рота дошла до оврага и расположилась там. В дальнейший бой дивизия так и не вступила, потому что с немцами под Ельней разделались и без нее. У всех в роте осталось чувство разочарования и огорчения: за что убиты люди, их товарищи, убиты неведомо откуда и неведомо кем, тогда как они еще ни разу не выстрелили из своих винтовок. Чувство обидное и понятное. Люди не сразу привыкают, что потери на войне неизбежно состоят не только из героических смертей, но и из нелепых.

Настоящий бой произошел только месяц спустя — 2 октября, когда немцы, в двух местах прорвав фронт и окружив войска, находившиеся в треугольнике Белый — Дорогобуж — Вязьма, двинулись к Москве. Ополченческая дивизия Сабурова — недовооруженная и недообученная, по сравнению с обычными кадровыми частями, — трагически оказалась именно на участке главного прорыва. Она была прижата к земле чудовищной бомбежкой; через нее проползли танки, прокатились пушки, проехала мотопехота, прошли автоматчики. Удар был неожиданный и страшный. Казалось, на этой земле не могло остаться ничего живого.

Сабуров был в бешенстве от своего бессилия, стреляя из винтовки по надвигавшимся немецким танкам. Потом, когда это было еще совершенно бесполезно, он издалека, с расстояния в сто метров бросил две свои бутылки с горючим, которые, конечно, не долетели и упали просто на землю, и в ужасе перед этой надвигавшейся, неодолимой железной смертью побежал вместе с остальными.

Два дня он не мог прийти в себя от ужаса, порожденного не столько самим видом танков, сколько тем, что винтовка, которую он держал в руках, была абсолютно беспомощной перед ними. Разница между ним и многими из его бойцов заключалась в том, что они бросили в это время свои винтовки, а он нет. И произошло это, очевидно, не из храбрости и не от заранее обдуманного намерения, а просто из-за той армейской кадровой выучки, приучившей его не расставаться с оружием, выучки, которая была у него и которой не было у его бойцов.

Он пришел в себя только на третий день, в лесу. Вокруг него собралось девять человек; только у двоих из них, кроме него, были винтовки. Ночью он заставил всех выползти на опушку, на поле, где они нашли уже не свои, а чужие брошенные винтовки и гранаты. Он не знал ничего — ни где наши, ни где немцы, ни вообще что происходит. Эти два дня они бросались на землю, услышав гул самолета, и уходили глубже в лес даже при отдаленном звуке автоматной очереди.

На третий день придя в себя, он решил, что они так или иначе должны пробиться к своим. Как это сделать, — он представлял себе неясно, зная только одно, что для этого надо идти на восток. Они пошли на рассвете четвертого дня. Сабуров увидел обыскивавших опушку леса немецких автоматчиков. Их было шестеро. Первым и естественным движением его было уйти и спрятаться подальше. Он подавил это чувство в себе и в других и, примостившись за толстым пнем, стал ждать приближения немцев...

Немцы шли так, как они обычно делали в эти дни, — неосторожно и самоуверенно. Сабуров приложился, долго и мучительно целясь, чувствуя, что от этого выстрела зависело чрезвычайно многое и для него, и для всех, кто был с ним. Наконец он выстрелил. Близкий немец, находившийся в сотне метров, упал убитым. Именно убитым — Сабуров знал, что сейчас



МОСКВА В НОЯБРЕ 1941 ГОДА

Картина А. А. Дейнеки (масло). Ноябрь 1941 г.

Третьяковская галерея, Москва

у него рука не дрожала, он не мог промахнуться на таком расстоянии. Он быстро прицелился второй раз — и снова выстрел — упал второй немец.

Девять человек, бывших с Сабуровым, открыли радостную, беспорядочную стрельбу из винтовок. Третий немец, не успевший спрятаться за дерево, тоже упал. Трое оставшихся залегли и открыли стрельбу из автоматов.

Один из бывших с Сабуровым — бухгалтер госбанка, — высокий человек в пенсне, — услышав автоматную очередь, бросил винтовку, вскочил и неловко, по-мальчишески прижав руки к груди, побежал в лес.

— Куда?! — крикнул Сабуров, чувствуя, что если он не остановит его, то побегут и все остальные. — Стой! — крикнул он еще раз, но его ополченец продолжал бежать. Тогда Сабуров приложился и выстрелил ему вдогонку. Он упал.

Сабуров почувствовал, что они сейчас должны убить этих троих немцев, убить, иначе, если не выйдет это, то вообще больше ничего не выйдет — они не спасутся и не выберутся из окружения, не станут солдатами, а просто глупо и подло умрут или здесь или за версту отсюда. Он приказал продолжать стрелять по немцам, а сам пополз в сторону, чтобы попробовать застрелить немцев сбоку, оттуда, где их не прикрывали стволы деревьев. Когда он отполз на двадцать шагов, он увидел, как один из немцев, видимо, посланный за помощью, пригнувшись, перебегает от дерева к дереву. Он выстрелил по нему несколько раз и убил или ранил его, во всяком случае немец упал.

Теперь нужно было ползти дальше и попробовать подстрелить оставшихся двух немцев. Но поднятый с места каким-то безотчетным порывом, Сабуров вместо этого вдруг вскочил и с одиноким криком «ура» побежал прямо туда, где были немцы. Он не оглядывался, но спиной чувствовал, что остальные тоже вскочили и побежали за ним. Он побежал прямо, не прячась за стволами, думая только о том, сколько шагов ему осталось. Немцы стреляли из автоматов. Потом у одного из них автомат заело, и Сабуров совсем близко, в тридцати шагах, увидел страшное лицо, с которым тот пробовал вытащить из автомата заевший патрон.

Сабурову сбоку было бежать дальше, чем остальным, и они подбежали к немцам раньше, чем он. Один немец был убит выстрелом в упор, второй — тот, у которого заело автомат, — поднял руки. Разгоряченные и дрожавшие от волнения ополченцы окружили немца; не заколов и не застрелив его в первую секунду, они не знали, что с ним делать. Сабуров в первый раз в жизни почувствовал тот жестокий холодок в спине, который он потом так часто чувствовал, когда ему приходилось убивать людей или приказывать другим сделать это. Он посмотрел на немца, поднял винтовку и спокойно выстрелил ему в грудь. Когда они огляделись, то оказалось, что трое из восьми, тех, которые поднялись вслед за Сабуровым, лежали мертвыми. Их изрешетили в упор автоматные очереди так, что одного из них, которому очередь попала в лицо, невозможно было узнать. Хоронить их было некогда. Сабуров приказал вынуть из карманов документы, положить мертвых рядом под деревом и идти. Он забыл о том девятом своем ополченце, в которого стрелял, и удивился, увидев его выходящим из-за дерева. Бухгалтер шел прямо к нему, осторожно придерживая правой рукой левую, раненную в предплечье.

— Ну? — спросил Сабуров, не представляя себе, что скажет дальше.

— Извините... — сказал бухгалтер, и в этом неожиданном слове был не страх и не просьба о прощении, а стыд и чувство неловкости.

Сабуров молча вытащил из кармана индивидуальный пакет, разорвал гимнастерку, перевязал простреленную руку. Бухгалтер стоял, уставившись взглядом в одну точку, и тихонько стонал. Сабуров проследил за направлением его взгляда. Бухгалтер упорно, внимательно смотрел на трех мертвых лежавших перед ним немцев.

— Вот видите, — сказал Сабуров, кивнув на немцев, — видите, лежат и всё...

И все семеро живых они с минуту молча стояли, глядя на немецких мертвецов. И Сабуров читал в их душах те же чувства, которые родились у него, — вот лежат мертвые немцы, которых убили они и которых вообще, оказывается, можно убивать. Именно эта минута и это чувство были настоящим началом его солдатской жизни, в которой всегда с тех пор желание убить немца было сильнее чувства страха за себя.

Через пять дней, потеряв в перестрелке еще одного человека, они шестером перешли через линию фронта, попав в чужую, теперь уже медленно продолжавшую отступать дивизию.

С этого, собственно, и началась для него война, потому что война начинается для человека не с той минуты, когда он взял в руки оружие, а с той минуты, когда он почувствовал, что он может и умеет этим оружием убить. Все то, что было дальше, была трудная, всегда утомительная и часто кровавая работа.